

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Кирилл Дмитриевич Померанцев (1906 — 1991) был одним из замечательных поэтов русского зарубежья, фигурой колоритной и неординарной, последним из могижан парижской эмиграции. Его предельно простая по форме, почти разговорная по интонации поэзия глубоко философична, исполнена неизменного стремления к высшему знанию, к прорыву в область вневременных ценностных ориентиров, слабые отблески которых поэт чутко улавливал в явлениях повседневного ряда, в блоковской Радости-Страданье каждого невозвратимого Божьего дня.

Мне довелось работать с ним в парижском еженедельнике «Русская мысль» и удостоиться его личной дружбы — начиная с весны 1983 года и до весеннего дня его смерти.

К. Померанцев родился в Москве в 1906 году. Его отец был известным нотариусом, иногда сочинявшим шуточные стихотворения и даже поэмы. Детство Померанцева прошло в Полтаве, где семья пережила «февраль» и «гетманщину». В 1919 году родители эвакуировались с мальчиком в Новороссийск, откуда переправились в Константинополь. Там Померанцев закончил Британскую школу для русских мальчиков, работавшую по системе российских реальных училищ. В 1927 году он отправился в Париж, где и провёл всю оставшуюся жизнь.

Получив американскую стипендию «Уитмора», Померанцев поступает в техникум. Но вскоре бросает учебу, работает на бензоколонке, на заводе грампластинок и т.д. Во Франции это были годы тяжелейшего экономического кризиса.

С началом войны он отправляется в Лион, где участвует в Сопротивлении. После освобождения Парижа работает в мастерской по модной тогда росписи шёлка — «пошварном ателье», как говорили в эмиграции.

С 1946 года в квартире Померанцева регулярно устраивались литературные вечера, постоянными участниками которых были Иван Бунин, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Борис Зайцев, Юрий Одарченко, Владимир Смоленский и другие поэты и писатели.

С характерной для него скромностью Померанцев говорил в поздние годы: «Я простой журналист, которому посчастливилось познакомиться со всеми русскими писателями и поэтами, жившими в Париже. Со многими из них меня связывала тесная многолетняя дружба».

С начала 1950-х годов стихи, философские статьи, критические отзывы и проза Померанцева широко публиковались во всей эмигрантской периодике, включая «Новый журнал», «Возрождение», «Мосты», «Опыты», «Континент», «Русскую мысль», «Новое русское слово» и другие. В альманахе «Мосты», в частности, увидела свет его повесть «Итальянские негативы» (№10, 1963 и №11, 1965), иллюстрированная Юрием Анненковым.

Стихи К. Померанцева входят в наиболее представительные антологии эмигрантской поэзии. Но до сих пор появился лишь один крошечный сборник его стихов, вышедший в парижском издательстве «Ритм». Книжку эту Кирилл Дмитриевич не любил, даже стеснялся её и изымал у своих друзей и знакомых, поскольку составитель её позволил себе ничтоже сумняшеся «поправить» многие стихотворения на свой вкус (мне пришлось назвать это в тогдашней рецензии «досадными опечатками»).

Первой публикацией поэта на Родине стала большая подборка в журнале «Октябрь» (№8, 1989), составленная давним московским корреспондентом К. Померанцева журналистом Игорем Васильевым. Померанцев писал ему в своё время: «Моим учителем был замечательный поэт Георгий Иванов, который, по моему мнению, достиг предела стихотворного ремесла: абсолютной точности и адекватности формы и содержания».

Георгий Иванов, чья поэзия стала горестной вершиной всей эмигрантской лирики, был, судя по рассказам самого Померанцева и тому, что мне говорила в Париже И.В.Одоевцева, беспощаден к его первым поэтическим опытам. «Это имеет такое же отношение к поэзии, как НТС к освобождению России», — съязвил Иванов. (Эту фразу Кирилл Дмитриевич любил повторять в редакции «Русской мысли» по отношению к некоторым стихотворным публикациям, заполнявшим литературные страницы отнюдь не из-за их художественных достоинств.)

Убийственный ивановский сарказм и систематический «разнос» помогли Померанцеву на всю жизнь сохранить величайшую самокритичность к своим произведениям, доходящую порой до самоуничужения.

Для понимания творческого наследия К. Померанцева необходимо также знать, что до последнего дня своей жизни он оставался убежденным адептом антропософского учения, толкующего, как известно, о цепочке земных перевоплощений человека на пути к высшему духовному совершенству, к возведению его в божественный ранг. Основателем антропософии был немецкий мистический философ Рудольф Штейнер, чьими ветхими переводными томами у Померанцева были забиты все шкафы и антресоли.

Кирилл Дмитриевич был, безусловно, человеком разочарованным в горькой и пред-решённой земной юдоли, и всё свое мужество, всю доброту и терпимость, всю скромность и обаяние он черпал именно из этой «благой вести» о реинкарнации — даже и тогда, когда уходил, по слову того же боготворимого им Георгия Иванова, «в отчаянье, приют последний».

Его небольшую уютную квартиру на улице Эрланже, неподалёку от Булонского леса, освящал один предмет: в тёмной рамке, в поблекшем от времени паспарту — плоская, шитая серебром бархатная сумочка. Это была ташка, принадлежавшая самому Лермонтову, который называл её «перемётная сума моего таланта». Она хранилась в семье А. П. Шан-Гирея. После смерти поэта в ташке были обнаружены рассыпавшиеся в прах цветы, черновые наброски стихов и любовные письма.

На стене в столовой висела большая картина, изображавшая Христа в пустыне. Лицо Спасителя было сплошным свечением.

К. Померанцев скончался в Париже в ночь на 5 марта 1991 года, на 85-м году жизни.

Урна с его прахом замурована в колумбарии огромного кладбища Пер-Лашез. № 14201...

За стеной — урна великой гречанки Марии Каллас. Там всегда живые цветы, записки. Ниша Кирилла Дмитриевича долго оставалась безымянной: «Всё, как прежде, и всё, как всегда», в распроклятой судьбе эмигранта». Но ведь сказано в метерлинковской «Синей птице» — так, чтобы не ведали страха и угрызений взрослые дети: «Мёртвых нет».

Мне остаётся добавить, что все материалы из «Русской мысли» публикуются с согласия её покойного главного редактора И.А.Иловойской-Альберти и нынешнего — Ирины Кривовой, которой я благодарен за деятельное участие в осуществлении этого проекта. Также сердечно благодарю многолетнего секретаря редакции Нину Константиновну Прихненко и директора парижской Библиотеки им.Тургенева Т.Л. Гладкову.

Александр Радашкевич

Кирилл Померанцев

СКВОЗЬ СМЕРТЬ

Не дивно ль — в солнечном закате,
В сиянии или в полумгле,

Увидеть черное Распятие
Огромной тенью на Земле.

Увидеть всю судьбу людскую,
Где каждый путь есть крестный путь,
И эту логику стальную
Очеловечить как-нибудь.

Много мне приходилось в жизни встречать интересных людей. Одних кратко, других годами, с некоторыми дружить. Но вот, когда они проходили через мою жизнь, я, понимая их значительность, даже гордясь перед самим собой знакомством с ними, чего-то в них не разглядел, чего-то не вместил. Никогда не приходило в голову записать разговор, брошенные замечания, острую реплику. Все шло так, будто мы бессмертны: успеется, всегда найдется время.

Но приходила смерть, все чаще, круг друзей редел. Умершие словно проваливались в небытие: исчезали, изымались из памяти. Конечно, в первые дни, недели, месяцы была боль утраты, щемила тоска, иногда угрызения: не договорили до конца, не спросил самого главного...

Это было в начале пятидесятых годов. Благодаря моему другу, богослову и философу Владимиру Николаевичу Ильину, я стал ходить на «пятницы» французского философа, христианского экзистенциалиста Габриэля Марселя и очень скоро стал их завсегдаем. Ему уже было за шестьдесят, и он жил в Латинском квартале, возле Пантеона, на четвертом без лифта этаже старого добротного дома, каких уже давно не строят. Деталь эту вспоминаю лишь потому, что за год до нашего знакомства Г.Марсель сломал ногу; она у него как-то несуразно выглядела, и он с трудом передвигался, но костылей не признавал (или я их у него не видел). Не видел я и как он справлялся с лестницей. А из-за лекций, собраний и других симпозиумов проделывать эту «гимнастику» ему приходилось минимум раза три в неделю.

Габриэль Марсель был полиглотом: отлично знал двенадцать языков, но русского среди них не было. Собирались же у него воистину «все языки и народы» — немцы, англичане, индусы, японцы. И мы с Ильиным — русские. Обычно он предлагал какую-нибудь тему, и собравшиеся ее обсуждали: «Личность и индивидуальность», «Христианство и буддизм», «Бердяев и Бёме (Властен ли Бог над свободой или нет?)»... Снисходили и до «земных» тем: политики, войны, колониализма (во Франции начиналась деколонизация).

Вспоминается одна «пятница», посвященная Индии: как раз вернулась из Дели приятельница Марселя, французская писательница (фамилии уже не помню), большая поклонница этой страны, отлично знавшая ее историю и культуру, но поехавшая туда в первый раз. Ее потрясла «жесточкая нищета», которую она там встретила наряду с «позорной роскошью» (всё ее слова), в которой живут привилегированные сословия. Так, в Дели, на перекрестке, в лохмотьях и язвах с протянутой «щепкой-рукой» сидел голодный нищий, а по улице в шелках и драгоценностях на слоне и со свитой «проплывал», ни на кого не обращая внимания, магараджа. Ну, разве это не позор? Затем следовали описания «священных коров», от недоедания превратившихся в «костяные каркасы»: их оставляли голодать, но убивать не смели. Словом, «круг ада». Рассказ длился около часа.

Когда он кончился, а слушатели начали возмущаться, слова попросил один индус (он оказался профессором философии Бомбейского университета) и спокойно, совершенно не задетый услышанным, сказал приблизительно следующее: «Я подобные сцены наблюдаю почти ежечасно. Жаль, что г-жа (он назвал ее фамилию) не подошла к нищему и не спросила его — хотел бы он поменяться ролями с магараджей? Она, наверно, услышала бы: „Никогда и ни за что“. Потому что он знает, что они ролями меняются после смерти».

И дальше: «Это вы, европейцы, измеряете человеческую жизнь лишь одним ее теперешним земным звеном. Мы, индусы, — всей цепью земных воплощений и их разделяющих периодов пребывания в духовном мире».

И здесь он поразил нас своим знанием христианства, признавшись, что не понимает, почему католики отрицают перевоплощение, когда о нем черным по белому говорится в девятой главе Евангелия от Иоанна: «И проходя (Иисус) увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». И, обращаясь к нам, индус спросил: «Как можно родиться слепым за дела свои, если не предположить этих дел в предыдущем воплощении? И обратите внимание на ответ Иисуса — что слепой родился таковым не за свои грехи и не за грехи родителей, а это значит, что можно родиться слепым и за те, и за другие грехи. Иисус такую возможность признавал, она не отрицалась ни Им, ни Его учениками».

Помню, что один из присутствовавших, объясняя отрицание перевоплощения католической церковью, обосновал это тем, что иначе перевоплощение стало бы соблазном для человека: рассчитывая на будущие воплощения, он легче грешил бы в настоящем. Другой, напротив, перевоплощение защищал, видя в этой доктрине единственную возможность хоть как-то оправдать (или обосновать) существование зла, которое должно быть претворено в конечном счете в добро и тем самым оправдать и само бытие, и существование его Творца.

Ильин заметил: «В перевоплощение верит почти половина человечества, и уже одно это не позволяет отмахнуться от него простым отрицанием».

И вот здесь Габриэль Марсель бросил свою знаменитую фразу, являющуюся одной из основ его философии: «Настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти». Фраза меня поразила, но годами оставалась неосознанной, пока не превратилась в реальность. Что она значила? То, что со смертью человека отпадает его телесная оболочка и его душа становится ощутимей душами близких ему людей. Появляется возможность ощущать душу усопшего, то есть сущность человека, очищенной от временных, вызванных обстоятельствами, раздражений, резких и зачастую неоправданных реакций, превратных суждений и т.п. И тогда начинаешь чувствовать свою вину перед умершим: там поторопился, там был недостаточно внимателен, там просто не понял. Но если задуматься — то ведь иначе и не могло быть: при жизни душа не могла быть так близка — мешала «перегородка» тела.

Конечно, это касается не всех людей, с которыми я встречался и к которым был близок. Поэтому и писать буду лишь о тех, вспоминая которых, чувствую сквозь смерть их «настоящее присутствие».

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Впервые я увидел Георгия Викторовича Адамовича зимой 1946 года на литературном вечере в малом зале Русской консерватории в Париже, устроенном Ю.К.Терапиано, где мы, называвшиеся тогда «молодыми поэтами» (Тамара и Анатолий Величковские, А.Шиманская, Е.Щербаков и Б.Богаевский), читали свои стихи. Никак не ожидал увидеть Адамовича таким. Он почему-то представлялся мне пожилым, лет шестидесяти и непременно с белой бородкой. Слышанное мною о нем в нашем поэтическом кружке, от тогдашних моих знакомых, и впечатление от некоторых его статей — все это рисовало его строгим, капризным и даже безжалостным критиком. (Кстати, сам он считал себя литературоведом). В каком-то смысле это так и было.

О вечере уже ничего не помню, кроме того, что прочел несколько откровенно скверных стихотворений, и думаю, что Георгий Викторович, по свойственной ему деликатности, обошел их молчанием. Но знаю, что о других он что-то говорил. Затем я уже регулярно встречал его на литературных вечерах, собраниях и у общих знакомых и

быстро привык к его облику — теперь мне кажется диким, что когда-то представлял его иным.

По-настоящему же сошелся с ним года за три до его кончины в 1972 году, и благодарю Бога за то, что так поздно, потому что за последние годы жизни он стал совершенно другим человеком, мало похожим на того, которого описывали наши общие знакомые и друзья, как и большинство его братьев по перу, но, к сожалению, не «по душе».

И особенно теперь, когда я вглядываюсь в эти «наши» три года «сквозь смерть», больше десяти лет спустя, после буквально чуть ли не ежеутренних разговоров по телефону, во время которых мы обменивались приветствиями и мыслями (а раз в две недели вместе ужинали в «кантине» Консерватории, где кормили дешево и неплохо).

Это был тонкий, обаятельный и по-настоящему умный человек. Я никогда не слышал от него умышленно злобного отзыва о ком-либо. Иронические бывали, но злобных — никогда. Так, об одном милом, но малоталанливом литературоведе он шутливо говорил, что у него «вместо мозгов вата», а про одни замечательные, но пустоватые стихи — что «они подобны пене на стакане с пивом: тронешь пальцем, и ничего не останется».

Постепенно Георгий Викторович открывался мне и глубоко религиозным, хотя и не церковным человеком. Было это не только на словах, но и на деле. Лишь после его смерти близко знавшие его люди с удивлением обнаружили, что он из своих более чем скудных средств немало помогал своим друзьям: какому-то ребенку оплачивал школу, кому-то регулярно посылал деньги... Сам же жил предельно скромно: на седьмом этаже, в выходявшей на черную лестницу комнате для прислуги, причем лифт доходил лишь до шестого этажа. И это после двух инфарктов. Единственная роскошь, которую он себе позволял, было ездить летом в Ниццу и обратно в купе первого класса спального вагона.

Он был заморожен образом Христа, как впоследствии Им была заморожена Симона Вейль, но она, считая себя христианкой и стараясь по-христиански жить, не могла — из-за ее рационализма (немного как и Толстой) — поверить в Его Воскресение. Адамовичу тоже пришлось бороться со своим разумом, но здесь «руку приложил» я с моим штейнерианством: христология Штейнера целиком построена на «Мистерии Голгофы», то есть на прохождении Христа через страдания, смерть и воскресение, в более приемлемом для современного сознания понимании, чем церковное. Не знаю, верил ли он в перевоплощение, но в жизнь после смерти — абсолютно. Так, месяца за два до кончины, у одних наших знакомых, Георгий Викторович сказал, что хотел бы знать о своей смерти хотя бы за сутки, — «чтобы иметь возможность к ней подготовиться». Но судьба решила иначе: он умер внезапно от третьего инфаркта в Ницце 21 февраля 1972 года, смотря телевизор.

Можно сказать, что христианство всю жизнь «преследовало» Адамовича.

С одной стороны, он знал, что из современного мира христианство уходит: «Мир отлично устроился без христианства», — как-то заметил Бергсон (хотя сам собирался перейти в католичество, но не сделал этого из-за гитлеровских преследований евреев, не желая десолидаризироваться со своим народом). С другой стороны, он не мог представить себе этого мира без христианства. Однажды он заметил: «Как можно жить, любить, писать без христианства?» Фраза эта была брошена вскользь, меня удивила, но я не реагировал, — вероятно, побоялся, что объяснения будут недостаточно убедительными и стушуют первое впечатление. Не надо думать, что в наших беседах мы касались лишь «высоких материй». Такого рода разговоры были редки. Больше говорили «за жизнь», как по утрам по телефону. Говорили много, хоть тоже не очень часто, о литературе, но не о новинках: Георгий Викторович утверждал, что «новинки», даже лучшие, его уже не интересуют. Что он предпочитает перечитывать любимых писателей, и среди них был, конечно, Толстой и его роман «Анна Каренина», который он считал лучшим в мировой литературе.

Об отношении Адамовича к Толстому можно было бы написать отдельную статью и даже книгу. Постараюсь просто передать мое впечатление. В противоположность большинству читателей и специалистов, Георгий Викторович не отделял Толстого-писателя

от Толстого-моралиста, учителя жизни. Толстой был для него единством (повторяю, я говорю об Адамовиче, каким знал его в последние годы его жизни, каким вижу его теперь, — «сквозь смерть»). Конечно и вероятно, лучше других он знал все слабости и трудности Толстого-человека. Но они вытекали из его могучей плотской природы, и всякого другого человека давно бы раздавили. Стоит только прочесть дневник Толстого, его записные книжки и письма, чтобы почувствовать его гигантскую борьбу с самим собой, со своей «низшей» природой. Если бы такой борьбы не было, никогда бы Толстой не смог оказать такого влияния на своих современников — и не только в России, но и во всем мире. Он повлиял не только на Ганди, но и на индийские государственные учреждения! Толстой был до предела искренен и правдив. Эта сторона толстовского характера и толстовских литературных произведений и покоряла Адамовича. Даже христианство Толстого по своей искренности для Адамовича было более близким к истинному христианству, чем «христианство тех, кто его отлучил от церкви».

Почему Толстой мог так убедительно писать? Конечно, благодаря своему огромному литературному таланту, но еще и потому, что он «постоянно думал о смерти» (его собственные слова). Никогда о смерти не переставал думать и Адамович: поэтому-то хотел «хоть за сутки узнать» о своей кончине.

Но упомянув о Толстом, — так уж у нас, русских, повелось, — нельзя не упомянуть о Достоевском. Отношение Георгия Викторовича к автору «Братьев Карамазовых» было совсем другим. Почти до самых последних лет жизни он считал Достоевского «писателем для юношества», и — Боже мой! — каким только нападка за эту фразу он не подвергался! В годы нашего близкого знакомства этого уже не было — Адамович Достоевского «признал». И, опять же, его признание было ценней и глубже, чем восторженные дифирамбы, расточаемые великому писателю незадачливыми литературоведами. Помню, он мне как-то сказал: «Когда мы смотрим, что происходит с людьми в наше время, как в наше время унижен человек, мне всегда жаль, что Достоевский родился слишком рано и до этого не дожил, потому что такого чутья к человеческому страданию, к насилию над человеком, к несчастью человека, которому «уже пойти некуда», не было ни у кого и никогда».

Сравнивая же Толстого с Достоевским, он говорил, что «безусловно, метафизический взлет последнего был выше толстовского, но Толстой, как грузовой самолет, поднимал груз более тяжелый, и ему приходилось брать с собой всю жизнь, всю ее толщу». И в этом плане Адамович считал Солженицына наследником и Толстого, и Достоевского — наследником, равного которому после смерти Толстого не было, и не только в России, но и в остальном мире.

Приведя как пример разговор Костоглотова с умирающим Шулубиным («Раковый корпус»), Адамович заметил: «Так в наше время мог бы говорить Иван Карамазов с Алешей». В пример Толстого — нарастающую, «словно в греческой трагедии, катастрофу», предшествующую обеду у прокурора Макарыгина («В круге первом»), и «Матренин двор», под «которыми расписался бы и Толстой».

Сам поэт, Георгий Викторович всегда был исключительно внимателен к поэзии других. Многие его упрекают за то, что он долгое время не принимал поэзии Марины Цветаевой. Да, это было. Но уже не «при мне». Помню, в конце 60-х годов его беседа о Ходасевиче и Цветаевой, где он разбирал «Перед зеркалом» первого и «Роландов рог» второй, явно отдавая предпочтение Марине, хотя бы потому — и это, быть может, главное, — что стихотворение Ходасевича можно изложить прозой, а цветаевское — нет.

Из поэтов Серебряного века больше всех созвучен Адамовичу был Анненский, созвучен своей внутренней тревогой, которая никогда, и особенно в последние годы, не оставляла Георгия Викторовича. Он, конечно, понимал и признавал величину и значение Блока, но больше как явление, чем как поэта. Анненский же привораживал Адамовича трагичностью своей настроенности, невозможностью эту трагичность преодолеть и тем, что сумел — для чуткого слуха — ее воплотить в стихи, хотя и здесь — лишь памятуя знаменитое «мысль изреченная есть ложь». А Тютчев для Георгия Викторовича был величайшим русским поэтом.

И вот теперь, когда я, вспоминая, *переживаю* Георгия Викторовича, во мне звучат (не могу найти другого, кроме этого затасканного слова) последние строки его, по моему, лучшего стихотворения:

И может, в старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно твердил на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Есть таинственная, почти физическая связь между смертью и любовью в ее высшем проявлении. И та, и другая поднимают человека до ЧЕЛОВЕКА. И теперь, когда я вспоминаю «сквозь смерть» Георгия Викторовича, я вижу эти строки претворенными и сливающимися с его образом.